

ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ



• ОКАЯННЫЕ ДНИ •

[illegible]

PLANTING CENT, PLANTING

Шейнзвія.

СТО-ТОЛАН, 1 (10) Y

1990-1991
 1992-1993

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 103-107.

0143-9862/98/0005-0000\$10.00/0

Окаянные дни (Вече)

Лев Троцкий

**История русской революции.
Февральская революция**

«ВЕЧЕ»

1931

Троцкий Л. Д.

История русской революции. Февральская революция /
Л. Д. Троцкий — «ВЕЧЕ», 1931 — (Окаянные дни (Вече))

ISBN 978-5-4444-8884-3

Воспоминания Льва Троцкого – это рассказ о событиях Февральской революции в России от первого лица. Автор подробно описывает революционные дни и своих товарищей по борьбе, давая каждому из них емкие характеристики. Перед читателями раскрываются обстоятельства фракционной борьбы внутри партии большевиков и противостояния с буржуазно-демократическими партиями.

ISBN 978-5-4444-8884-3

© Троцкий Л. Д., 1931
© ВЕЧЕ, 1931

Содержание

Предисловие к русскому изданию	6
Предисловие	8
Особенности развития России	12
Царская Россия в войне	19
Пролетариат и крестьянство	28
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Л. Д. Троцкий
История русской революции.
Февральская революция

© ООО «Издательство «Вече», 2017

* * *

Предисловие к русскому изданию

Февральская революция считается *демократической* революцией в собственном смысле слова. Политически она разворачивалась под руководством двух демократических партий: социалистов-революционеров и меньшевиков. Возвращение к «заветам» Февральской революции является и сейчас официальной догмой так называемой демократии. Все это как будто дает основание думать, что демократические идеологи должны были поспешить подвести исторические и теоретические итоги февральскому опыту, вскрыть причины его крушения, определить, в чем собственно состоят его «заветы» и каков путь к их осуществлению. Обе демократические партии пользуются к тому же значительным досугом уже свыше тринадцати лет, причем каждая из них располагает штабом литераторов, которым во всяком случае нельзя отказать в опытности. И тем не менее мы не имеем ни одной заслуживающей внимания работы демократов о демократической революции. Лидеры соглашательских партий явно не решаются восстановить ход развития Февральской революции, в которой им довелось играть такую видную роль. Не удивительно ли? Нет, вполне в порядке вещей. Вожди вульгарной демократии тем опасливее относятся к действительной Февральской революции, чем смелее они клянутся ее бесплотными заветами. То обстоятельство, что сами они занимали в течение нескольких месяцев 1917 года руководящие посты, как раз больше всего и заставляет их отвращать взоры от тогдашних событий. Ибо плачевная роль меньшевиков и социалистов-революционеров (какой иронией звучит ныне это имя!) отражала не просто личную слабость вождей, а историческое вырождение вульгарной демократии и обреченность Февральской революции как *демократической*.

Вся суть в том, — и это есть главный вывод настоящей книги, — что Февральская революция была только оболочкой, в которой скрывалось ядро Октябрьской революции. История Февральской революции есть история того, как Октябрьское ядро освобождалось от своих соглашательских покровов. Если бы вульгарные демократы посмели объективно изложить ход событий, они так же мало могли бы призывать кого-либо вернуться к Февралю, как нельзя призывать колос вернуться в породившее его зерно. Вот почему вдохновители ублюдочного февральского режима вынуждены ныне закрывать глаза на свою собственную историческую кульминацию, которая явилась кульминацией их несостоятельности.

Можно, правда, сослаться на то, что либерализм, в лице профессора истории Милюкова, попытался все же свести счеты со «второй русской революцией». Но Милюков вовсе не скрывает того, что он лишь претерпевал Февральскую революцию. Вряд ли есть какая-либо возможность причислять национал-либерального монархиста к демократии, хотя бы и вульгарной, — не на том же основании, в самом деле, что он примирился с республикой, когда не осталось ничего другого? Но даже оставляя политические соображения в стороне, работу Милюкова о Февральской революции ни в каком смысле нельзя считать научным трудом. Вождь либерализма выступает в своей «Истории» как потерпевший, как истец, но не как историк. Его три книги читаются, как растянутая передовица «Речи» в дни крушения корниловщины. Милюков обвиняет все классы и все партии в том, что они не помогли его классу и его партии сосредоточить в своих руках власть. Милюков обрушивается на демократов за то, что они не хотели или не умели быть последовательными национал-либералами. В то же время он сам вынужден свидетельствовать, что чем больше демократы приближались к национал-либерализму, тем больше они теряли опору в массах. Ему не остается, в конце концов, ничего иного, как обвинить русский народ в том, что он совершил преступление, именуемое революцией. Зачинщиков русской смуты Милюков, во время писания своей трехтомной передовицы, все еще пытался искать в канцелярии Людендорфа. Кадетский патриотизм, как известно, состоит в том, чтобы величайшие события в истории русского народа объяснять режиссерством немецкой агентуры, но

зато стремится в пользу «русского народа» отнять у турок Константинополь. Исторический труд Милюкова достойно завершает политическую орбиту русского национал-либерализма.

Понять революцию, как и историю в целом, можно только как объективно обусловленный процесс. Развитие народов выдвигает такие задачи, которых нельзя разрешить другими методами, кроме революции. В известные эпохи эти методы навязываются с такой силой, что вся нация вовлекается в трагический водоворот. Нет ничего более жалкого, как морализирование по поводу великих социальных катастроф! Здесь особенно уместно правило Спинозы: не плакать, не смеяться, а понимать.

Проблемы хозяйства, государства, политики, права, но рядом с ними также и проблемы семьи, личности, художественного творчества ставятся революцией заново и пересматриваются снизу доверху. Нет ни одной области человеческого творчества, в которую подлинно национальные революции не входили бы великими вехами. Это одно уже, отметим мимоходом, дает наиболее убедительное выражение монизму исторического развития. Обнажая все ткани общества, революция бросает яркий свет на основные проблемы социологии, этой несчастнейшей из наук, которую академическая мысль кормит уксусом и пинками. Проблемы хозяйства и государства, класса и нации, партии и класса, личности и общества ставятся во время великих социальных переворотов с предельной силой напряжения. Если революция и не разрешает немедленно ни одного из породивших ее вопросов, создавая лишь новые предпосылки для их разрешения, зато она обнажает все проблемы общественной жизни до конца. А в социологии больше, чем где бы то ни было, искусство познания есть искусство обнажения.

Незачем говорить, что наш труд не претендует на полноту. Читатель имеет пред собою главным образом *политическую* историю революции. Вопросы экономики привлекаются лишь постольку, поскольку они необходимы для понимания политического процесса. Проблемы культуры совсем оставлены за рамками исследования. Нельзя, однако, забывать, что процесс революции, т. е. непосредственной борьбы классов за власть, есть, по самому своему существу, процесс политический.

Второй том «Истории», посвященный Октябрьскому перевороту, автор надеется выпустить в свет осенью этого года.

Принкипо, 25 февраля 1931 г.

Л. Троцкий

Предисловие

В первые два месяца 1917 года Россия была еще романовской монархией. Через восемь месяцев у кормила стояли уже большевики, о которых мало кто знал в начале года и вожди которых, в самый момент прихода к власти, еще состояли под обвинением в государственной измене. В истории не найти второго такого крутого поворота, особенно если не забывать, что речь идет о нации в полтора миллиона душ. Ясно, что события 1917 года, как бы к ним ни относиться, заслуживают изучения.

История революции, как и всякая история, должна прежде всего рассказать, что и как произошло. Однако этого мало. Из самого рассказа должно стать ясно, почему произошло так, а не иначе. События не могут ни рассматриваться как цепь приключений, ни быть нанизаны на нитку предвзятой морали. Они должны повиноваться своей собственной закономерности. В раскрытии ее автор и видит свою задачу.

Наиболее бесспорной чертой революции является прямое вмешательство масс в исторические события. В обычное время государство, монархическое, как и демократическое, возвышается над нацией; историю вершат специалисты этого дела: монархи, министры, бюрократы, парламентарии, журналисты. Но в те поворотные моменты, когда старый порядок становится дальше невыносимым для масс, они ломают перегородки, отделяющие их от политической арены, опрокидывают своих традиционных представителей и создают своим вмешательством исходную позицию для нового режима. Худо это или хорошо, предоставим судить моралистам. Сами мы берем факты, как они даются объективным ходом развития. История революции есть для нас прежде всего история насильственного вторжения масс в область управления их собственными судьбами.

В охваченном революцией обществе борются классы. Совершенно очевидно, однако, что изменения, происходящие между началом революции и концом ее, в экономических основах общества и в социальном субстрате классов, совершенно недостаточны для объяснения хода самой революции, которая, на коротком промежутке времени, низвергает вековые учреждения, создает новые и снова низвергает. Динамика революционных событий *непосредственно* определяется быстрыми, напряженными и страстными изменениями психологии классов, сложившихся до революции.

Дело в том, что общество не меняет своих учреждений по мере надобности, как мастер обновляет свои инструменты. Наоборот, практически оно берет нависающие над ним учреждения как нечто раз навсегда данное. В течение десятилетий оппозиционная критика является лишь предохранительным клапаном для массового недовольства и условием устойчивости общественного строя: такое принципиальное значение приобрела, например, критика социал-демократии. Нужны совершенно исключительные, не зависящие от воли лиц или партий условия, которые срывают с недовольства оковы консерватизма и приводят массы к восстанию.

Быстрые изменения массовых взглядов и настроений в эпоху революции вытекают, следовательно, не из гибкости и подвижности человеческой психики, а, наоборот, из ее глубокого консерватизма. Хроническое отставание идей и отношений от новых объективных условий, вплоть до того момента, как последние обрушиваются на людей в виде катастрофы, и порождает в период революции скачкообразное движение идей и страстей, которое полицейским головам кажется простым результатом деятельности «демагогов».

В революцию массы входят не с готовым планом общественного переустройства, а с острым чувством невозможности терпеть старое. Лишь руководящий слой класса имеет политическую программу, которая, однако, нуждается еще в проверке событий и в одобрении масс. Основной политический процесс революции и состоит в постижении классом задач, вытекающих из социального кризиса, в активной ориентировке масс по методу последовательных

приближений. Отдельные этапы революционного процесса, закрепленные сменой одних партий другими, все более крайними, выражают возрастающий напор масс влево, пока размах движения не упирается в объективные препятствия. Тогда начинается реакция: разочарование отдельных слоев революционного класса, рост индифферентизма и тем самым упрочение позиций контрреволюционных сил. Такова, по крайней мере, схема старых революций.

Только на основе изучения политических процессов в самих массах можно понять роль партий и вождей, которых мы меньше всего склонны игнорировать. Они составляют хоть и не самостоятельный, но очень важный элемент процесса. Без руководящей организации энергия масс рассеялась бы, как пар, не заключенный в цилиндр с поршнем. Но движет все же не цилиндр и не поршень, движет пар.

Трудности, какие стоят на пути изучения изменений массового сознания в эпоху революции, совершенно очевидны. Угнетенные классы делают историю на заводах, в казармах, в деревнях, на улицах городов. При этом они меньше всего привыкли ее записывать. Периоды высшего напряжения социальных страстей вообще оставляют мало места созерцанию и отображению. Всем музам, даже плебейской музе журнализма, несмотря на ее крепкие бока, приходится туго во время революции. И все же положение историка отнюдь не безнадежно. Записи неполны, разрозненны, случайны. Но в свете самих событий эти осколки позволяют нередко угадать направление и ритм подспудного процесса. Худо или хорошо, но на учете изменений массового сознания революционная партия основывает свою тактику. Исторический путь большевизма свидетельствует, что такой учет, по крайней мере в грубых своих чертах, осуществим. Почему же то, что доступно революционному политику в водовороте борьбы, не может быть доступно историку задним числом?

Однако же процессы, происходящие в сознании масс, не являются ни самодовлеющими, ни независимыми. Как бы идеалисты и эклектики ни сердились, сознание все-таки определяется бытием. В исторических условиях формирования России, ее хозяйства, ее классов, ее государства, в воздействии на нее других государств должны были быть заложены предпосылки Февральской революции и ее смены – Октябрьской. Поскольку наиболее загадочным кажется все же тот факт, что отсталая страна *первою* поставила у власти пролетариат, приходится заранее разгадку этого факта искать в *своеобразии* этой отсталой страны, т. е. в ее отличиях от других стран.

Исторические особенности России и их удельный вес охарактеризованы нами в первых главах книги, заключающих краткий очерк развития русского общества и его внутренних сил. Мы хотели бы надеяться, что неизбежная схематичность этих глав не отпугнет читателя. На дальнейшем протяжении книги он встретит те же социальные силы в живом действии.

Этот труд ни в какой мере не опирается на личные воспоминания. То обстоятельство, что автор был участником событий, не освобождало его от обязанности строить свое изложение на строго проверенных документах. Автор книги говорит о себе, поскольку он вынуждается к тому ходом событий, в третьем лице. И это не простая литературная форма: субъективный тон, неизбежный в автобиографии или мемуарах, был бы недопустим в историческом труде.

Однако то обстоятельство, что автор был участником борьбы, естественно облегчает ему понимание не только психологии действующих лиц, индивидуальных и коллективных, но и внутренней связи событий. Это преимущество может дать положительные результаты при соблюдении одного условия: не полагаться на показания своей памяти не только в мелочах, но и в крупном, не только в отношении фактов, но и в отношении мотивов или настроений. Автор считает, что, насколько от него зависело, он это условие соблюдал.

Остается вопрос о политической позиции автора, который, в качестве историка, стоит на той же точке зрения, на которой стоял в качестве участника событий. Читатель, конечно, не обязан разделять политические взгляды автора, которые этот последний не имеет никаких оснований скрывать. Но читатель вправе требовать, чтобы исторический труд представлял

собой не апологию политической позиции, а внутренне обоснованное изображение реального процесса революции. Исторический труд только тогда полностью отвечает своему назначению, когда события разворачиваются на его страницах во всей своей естественной принудительности.

Необходимо ли для этого так называемое историческое «беспристрастие»? Никто еще ясно не объяснил, в чем оно должно состоять. Часто цитировавшиеся слова Клемансо о том, что революцию надо принимать *en bloc*, целиком, – представляют собою в лучшем случае остроумную увертку: как можно объявлять себя сторонником целого, сущность которого состоит в расколе? Афоризм Клемансо продиктован отчасти сконфуженностью за слишком решительных предков, отчасти – неловкостью потомка перед их тенями.

Один из реакционных и потому модных историков современной Франции, Л. Мадлен, столь салонно оклеветавший Великую революцию, т. е. рождение французской нации, утверждает, что «историк должен стать на стену угрожаемого города и одновременно видеть как осаждающих, так и осаждаемых»: только так можно будто бы добиться «примиряющей справедливости». Однако работы самого Мадлена свидетельствуют, что если он и взбирается на стену, отделяющую два лагеря, то только в качестве лазутчика реакции. Хорошо, что дело идет в данном случае о лагерях прошлого: во время революции пребывание на стене сопряжено с большими опасностями. Впрочем, в тревожные минуты жрецы «примиряющей справедливости» сидят обычно в четырех стенах, выжидая, на чьей стороне окажется победа.

Серьезному и критическому читателю нужно не вероломное беспристрастие, которое преподносит ему кубок примирения с хорошо отстоявшимся ядом реакционной ненависти на дне, а научная добросовестность, которая для своих симпатий и антипатий, открытых, незамаскированных, ищет опоры в честном изучении фактов, в установлении их действительной связи, в обнаружении закономерности их движения. Это есть единственно возможный исторический объективизм, и притом вполне достаточный, ибо он проверяется и удостоверяется не добрыми намерениями историка, за которые к тому же тот сам и ручается, а обнаруженной им закономерностью самого исторического процесса.

* * *

Источниками этой книги являются многочисленные периодические издания, газеты и журналы, мемуары, протоколы и иные материалы, отчасти рукописные, а главным образом изданные Институтом по истории революции в Москве и Ленинграде. Мы считали излишним делать в тексте ссылки на отдельные издания, так как это только затруднило бы читателя. Из книг, которые имеют характер сводных исторических трудов, мы использовали, в частности, двухтомные «Очерки по истории Октябрьской революции» (Москва – Ленинград, 1927). Написанные разными авторами, составные части этих «Очерков» имеют неодинаковую ценность, но заключают в себе, во всяком случае, обильный фактический материал.

Хронологические даты нашей книги везде указаны по старому стилю, т. е. отстают от мирового, в том числе и нынешнего советского, календаря на 13 дней. Автор вынужден был пользоваться тем календарем, который был в силе во время революции. Не представляло бы, правда, никакого труда перевести даты на новый стиль. Но такая операция, устраняя одни трудности, породила бы другие, более существенные. Низвержение монархии вошло в историю под именем Февральской революции. По западному календарю оно произошло, однако, в марте. Вооруженная демонстрация против империалистической политики Временного правительства вошла в историю под именем «апрельских дней», между тем, по западному календарю, она происходила в мае. Не останавливаясь на других промежуточных событиях и датах, отметим еще, что Октябрьский переворот произошел, по европейскому исчислению, в ноябре. Сам календарь, как видим, окрашен событиями, и историк не может расправиться с революционным летосчислением при помощи простых арифметических действий. Читатель благово-

лит лишь помнить, что, прежде чем опрокинуть византийский календарь, революция должна была опрокинуть державшиеся за него учреждения.

Принкипо, 14 ноября 1930 г.

Л. Троцкий

Особенности развития России

Основной, наиболее устойчивой чертой истории России является замедленный характер ее развития, с вытекающей отсюда экономической отсталостью, примитивностью общественных форм, низким уровнем культуры.

Население гигантской и суровой равнины, открытой восточным ветрам и азиатским выходцам, было самой природой обречено на долгое отставание. Борьба с кочевниками длилась почти до конца XVII века. Борьба с ветрами, приносящими зимнюю стужу, а летом засуху, не закончилась и сейчас. Сельское хозяйство – основа всего развития – продвигалось экстенсивными путями: на Севере вырубались и выжигались леса, на Юге взрывались девственные степи; овладение природой шло вширь, а не вглубь.

В то время как западные варвары поселились на развалинах римской культуры, где многие старые камни стали для них строительным материалом, славяне Востока не нашли никакого наследства на безотрадной равнине: их предшественники стояли на еще более низкой ступени, чем они сами. Западноевропейские народы, скоро упершиеся в свои естественные границы, создавали экономические и культурные сгустки промышленных городов. Население восточной равнины, при первых признаках тесноты, углублялось в леса или уходило на окраины, в степь. Наиболее инициативные и предприимчивые элементы крестьянства становились на Западе горожанами, ремесленниками, купцами. Активные и смелые элементы на Востоке становились отчасти торговцами, а больше – казаками, пограничниками, колонизаторами. Процесс социальной дифференциации, интенсивный на Западе, на Востоке задерживался и размывался процессом экспансии. «Царь Московии, хотя и христианский, правит людьми ленивого ума», – писал Вико, современник Петра I. «Ленивый ум» москвитян отражал медленный темп хозяйственного развития, бесформенность классовых отношений, скудость внутренней истории.

Древние цивилизации Египта, Индии и Китая имели достаточно самодовлеющий характер и располагали достаточным временем, чтобы, несмотря на свои низкие производительные силы, довести свои социальные отношения почти до такой же детальной законченности, до которой ремесленники этих стран доводили свои изделия. Россия стояла не только географически между Европой и Азией, но также социально и исторически. Она отличалась от европейского Запада, но разнилась и от азиатского Востока, приближаясь в разные периоды разными чертами то к одному, то к другому. Восток дал татарское иго, которое вошло важным элементом в строение русского государства. Запад был еще более грозным врагом, но в то же время и учителем. Россия не имела возможности сложиться в формах Востока, потому что ей всегда приходилось приспосабливаться к военному и экономическому давлению Запада.

Существование феодальных отношений в России, отрицавшееся прежними историками, можно считать позднейшими исследованиями безусловно доказанным. Более того: основные элементы русского феодализма были те же, что и на Западе. Но уже один тот факт, что феодальную эпоху пришлось устанавливать путем долгих научных споров, достаточно свидетельствует о недоношенности русского феодализма, о его бесформенности, о бедности его культурных памятников.

Отсталая страна ассимилирует материальные и идейные завоевания передовых стран. Но это не значит, что она рабски следует за ними, воспроизводя все этапы их прошлого. Теория повторяемости исторических циклов – Вико и его позднейшие последователи – опирается на наблюдения над орбитами старых, докапиталистических культур, отчасти – первых опытов капиталистического развития. С провинциальностью и эпизодичностью всего процесса действительно связана была известная повторяемость культурных стадий в новых и новых очагах. Капитализм означает, однако, преодоление этих условий. Он подготовил и, в неко-

тором смысле, осуществил универсальность и перманентность развития человечества. Этим самым исключена возможность повторяемости форм развития отдельных наций. Вынужденная тянуться за передовыми странами отсталая страна не соблюдает очередей: привилегия исторической запоздалости – а такая привилегия существует – позволяет или, вернее, вынуждает усваивать готовое раньше положенных сроков, перепрыгивая через ряд промежуточных этапов. Дикари сменяют лук на винтовку сразу, не проделывая пути, который пролегал между этими орудиями в прошлом. Европейские колонисты в Америке не начинали историю сначала. То обстоятельство, что Германия или Соединенные Штаты экономически опередили Англию, обусловлено как раз запоздалостью их капиталистического развития. Наоборот, консервативная анархия в британской угольной промышленности, как и в головах Макдональда и его друзей, есть расплата за прошлое, когда Англия слишком долго играла роль капиталистического гегемона. Развитие исторически запоздалой нации ведет, по необходимости, к своеобразному сочетанию разных стадий исторического процесса. Орбита в целом получает неплановый, сложный комбинированный характер.

Возможность перепрыгивания через промежуточные ступени, разумеется, совсем не абсолютна; размеры ее определяются, в конце концов, хозяйственной и культурной емкостью страны. Отсталая нация к тому же нередко снижает заимствуемые ею извне готовые достижения путем приспособления их к своей более примитивной культуре. Самый процесс ассимиляции получает при этом противоречивый характер. Так, введение элементов западной техники и выучки, прежде всего военной и мануфактурной, при Петре I привело к усугублению крепостного права как основной формы организации труда. Европейское вооружение и европейские займы, – и то и другое – бесспорные продукты более высокой культуры, – привели к укреплению царизма, тормозившего, в свою очередь, развитие страны.

Историческая закономерность не имеет ничего общего с педантским схематизмом. Неравномерность, наиболее общий закон исторического процесса, резче и сложнее всего обнаруживается на судьбе запоздалых стран. Под кнутом внешней необходимости отсталость вынуждена совершать скачки. Из универсального закона неравномерности вытекает другой закон, который, за неимением более подходящего имени, можно назвать законом *комбинированного развития*, в смысле сближения разных этапов пути, сочетания отдельных стадий, амальгамы архаических форм с наиболее современными. Без этого закона, взятого, разумеется, во всем его материальном содержании, нельзя понять истории России, как и всех вообще стран второго, третьего и десятого культурного призыва.

Под давлением более богатой Европы государство поглощало в России гораздо большую относительную долю народного достояния, чем на Западе, и не только обрекало этим народные массы на двойную нищету, но и ослабляло основы имущих классов. Нуждаясь в то же время в поддержке последних, оно форсировало и регламентировало их формирование. В результате бюрократизированные привилегированные классы никогда не могли подняться во весь рост, и государство в России тем больше приближалось к азиатской деспотии.

Византийское самодержавие, официально усвоенное московскими царями с начала XVI века, смирило феодальное боярство при помощи дворянства и подчинило себе дворянство, закабалив ему крестьянство, чтобы превратиться на этой основе в петербургский императорский абсолютизм. Запоздалость всего процесса достаточно характеризуется тем, что крепостное право, зародившись с конца XVI века, сложилось в XVII, достигло расцвета в XVIII и было юридически отменено лишь в 1861 году.

Духовенство, вслед за дворянством, сыграло в образовании царского самодержавия немалую роль, но вполне служебную. Церковь никогда не поднималась в России до той командующей высоты, что на католическом Западе: она удовлетворялась местом духовной прислуги при самодержавии и вменяла это в заслугу своему смирению. Епископы и митрополиты располагали властью лишь как ставленники светской власти. Патриархи сменялись вместе с царями. В

петербургский период зависимость церкви от государства стала еще более рабской. 200 тысяч священников и монахов составляли, в сущности, часть бюрократии, своего рода полицию вероисповедания. В возмещение за это монополия православного духовенства в делах веры, его земли и доходы ограждались полицией общего порядка.

Славянофильство, мессианизм отсталости, строило свою философию на том, что русский народ и его церковь насквозь демократичны, а официальная Россия – это немецкая бюрократия, насажденная Петром. Маркс заметил по этому поводу: «Ведь точно так же и тевтонские ослы сваливают деспотизм Фридриха II и т. д. на французов, как будто отсталые рабы не нуждаются всегда в цивилизованных рабах, чтобы пройти нужную выучку». Это краткое замечание исчерпывает до дна не только старую философию славянофилов, но и новейшие откровения «расистов».

Скудость не только русского феодализма, но и всей старой русской истории наиболее удручающее свое выражение находила в отсутствии настоящих средневековых городов как ремесленно-торговых центров. Ремесло не успело в России отделиться от земледелия и сохраняло характер кустарничества. Старые русские города были торговыми, административными, военными и помещичьими, следовательно, потребляющими, а не производящими центрами. Даже Новгород, близкий к Ганзе и не знавший татарского ига, был только торговым, а не промышленным городом. Правда, разбросанность крестьянских промыслов по разным районам создавала потребность в торговом посредничестве широкого масштаба. Но кочующие торговцы ни в какой мере не могли занять в общественной жизни то место, которое на Западе принадлежало ремесленно-цеховой и торгово-промышленной мелкой и средней буржуазии, неразрывно связанной со своей крестьянской периферией. Главные пути русской торговли к тому же вели за границу, обеспечивая уже с отдаленных веков руководство за иностранным торговым капиталом и придавая полуколониальный характер всему обороту, в котором русский торговец был посредником между западными городами и русской деревней. Этот род экономических отношений получил дальнейшее развитие в эпоху русского капитализма и нашел свое крайнее выражение в империалистской войне.

Ничтожество русских городов, наиболее способствовавшее выработке азиатского типа государства, исключало, в частности, возможность реформации, т. е. замены феодально-бюрократического православия какой-либо модернизированной разновидностью христианства, приспособленной к потребностям буржуазного общества. Борьба против государственной церкви не возвышалась над крестьянскими сектами, включая и самую могущественную из них, староверческий раскол.

За полтора десятилетия до Великой французской революции в России разразилось движение казаков, крестьян и крепостных уральских рабочих, известное под именем пугачевщины. Чего не хватало этому грозному народному восстанию, чтобы превратиться в революцию? Третьего сословия. Без промышленной демократии городов крестьянская война не могла развиваться в революцию, как крестьянские секты не могли подняться до реформации. Результатом пугачевщины явилось, наоборот, упрочение бюрократического абсолютизма как стража дворянских интересов, снова оправдавшего себя в трудный час.

Европеизация страны, формально начавшаяся при Петре, все более становилась в течение следовавшего столетия потребностью самого господствующего класса, т. е. дворянства. В 1825 году дворянская интеллигенция, политически обобщив эту потребность, пришла к военному заговору с целью ограничения самодержавия. Под давлением европейского буржуазного развития передовое дворянство попыталось, следовательно, заменить недостающее третье сословие. Но либеральный режим оно хотело все же сочетать с основами своего сословного господства и потому больше всего боялось поднимать крестьян. Неудивительно, если заговор остался предприятием блестящего, но изолированного офицерства, которое расшибло себе голову почти без боя. Таков смысл восстания декабристов.

Помещики, владевшие фабриками, первыми в среде своего сословия стали склоняться в пользу замены крепостного труда вольнонаемным. В эту же сторону толкал и возраставший экспорт русского зерна за границу. В 1861 году дворянская бюрократия, опираясь на либеральных помещиков, проводит свою крестьянскую реформу. Бессильный буржуазный либерализм состоял при этой операции в качестве покорного хора. Незачем говорить, что царизм еще более скаредно и воровато разрешил основную проблему России, т. е. аграрный вопрос, чем прусская монархия, в течение ближайшего десятилетия, разрешила основную проблему Германии, т. е. ее национальное объединение. Разрешение задач одного класса руками другого и есть один из комбинированных методов, свойственных отсталым странам.

Бесспорнее всего закон комбинированного развития обнаруживается, однако, на истории и характере русской промышленности. Возникнув поздно, она не повторяла развития передовых стран, а включалась в это последнее, приспособляя к своей отсталости его новейшие достижения. Если хозяйственная эволюция России в целом перешагнула через эпохи цехового ремесла и мануфактуры, то отдельные отрасли промышленности совершали ряд частных скачков через технико-производственные этапы, которые на Западе измерялись десятилетиями. Благодаря этому русская промышленность развивалась в некоторые периоды чрезвычайно быстрым темпом. Между первой революцией и войной промышленная продукция России выросла примерно вдвое. Это показалось некоторым русским историкам достаточным основанием для того вывода, что «легенду об отсталости и медленном росте приходится оставить». (Утверждение принадлежит профессору М. Н. Покровскому. См. приложение № 1.) На самом деле возможность столь быстрого роста определилась именно отсталостью, которая, увы, сохранилась не только до момента ликвидации старой России, но, как наследие ее, и до сегодняшнего дня.

Основным измерителем экономического уровня нации является производительность труда, которая, в свою очередь, зависит от удельного веса промышленности в общем хозяйстве страны. Накануне войны, когда царская Россия достигла высшей точки своего благосостояния, народный доход на душу был в 8–10 раз ниже, чем в Соединенных Штатах, что неудивительно, если принять во внимание, что 1/5 самодеятельного населения России занято было в сельском хозяйстве, тогда как в Соединенных Штатах на 1 занятого в земледелии приходилось 2,5 занятых в промышленности. Прибавим еще, что на 100 квадратных километров в России приходилось накануне войны 0,4 километра железных дорог, в Германии – 11,7, в Австро-Венгрии – 7,0. Остальные сравнительные коэффициенты того же типа.

Но именно в области хозяйства, как уже сказано, закон комбинированного развития выступает с наибольшей силой. В то время как крестьянское земледелие, в главной массе своей, оставалось до самой революции чуть ли не на уровне XVII столетия, промышленность России, по своей технике и капиталистической структуре, стояла на уровне передовых стран, а в некоторых отношениях даже опережала их. Мелкие предприятия, с числом рабочих до 100 человек, охватывали в 1914 году в Соединенных Штатах 35 % общего числа промышленных рабочих, а в России – только 17,8 %. При приблизительно одинаковом удельном весе средних и крупных предприятий, в 100–1000 рабочих, предприятия-гиганты, свыше 1000 рабочих каждое, занимали в С. Штатах 17,8 % общего числа рабочих, а в России – 41,4 %! Для важнейших промышленных районов последний процент еще выше: для петроградского – 44,4 %, для московского – даже 57,3 %. Подобные же результаты получаются, если сравним русскую промышленность с британской или германской. Этот факт, впервые установленный нами в 1908 году, трудно укладывается в банальное представление об экономической отсталости России. А между тем он не опровергает отсталости, а лишь диалектически дополняет ее.

Слияние промышленного капитала с банковским проведено было в России опять-таки с такой полнотой, как, пожалуй, ни в какой другой стране. Но подчинение промышленности банкам означало тем самым подчинение ее западноевропейскому денежному рынку. Тяжелая

промышленность (металл, уголь, нефть) была почти целиком подконтрольна иностранному финансовому капиталу, который создал для себя вспомогательную и посредническую систему банков в России. Легкая промышленность шла по тому же пути. Если иностранцы владели в общем около 40 % всех акционерных капиталов России, то для ведущих отраслей промышленности этот процент стоял значительно выше. Можно сказать без всякого преувеличения, что контрольный пакет акций русских банков, заводов и фабрик находился за границей, причем доля капиталов Англии, Франции и Бельгии была почти вдвое выше доли Германии.

Условиями происхождения русской промышленности и ее структурой определялся социальный характер русской буржуазии и ее политический облик. Высокая концентрация промышленности уже сама по себе означала, что между капиталистическими верхами и народными массами не было иерархии переходных слоев. К этому присоединялось то, что собственниками важнейших промышленных, банковских и транспортных предприятий были иностранцы, которые реализовали не только извлеченную из России прибыль, но и свое политическое влияние в иностранных парламентах и не только не подвигали вперед борьбу за русский парламентаризм, но часто противодействовали ей: достаточно вспомнить постыдную роль официальной Франции. Таковы элементарные и неустранимые причины политической изолированности и антинародного характера русской буржуазии. Если на заре своей истории она была слишком незрелой, чтобы совершить реформу, то она оказалась перезрелой, когда настало время для руководства революцией.

В соответствии с общим ходом развития страны резервуаром, из которого формировался русский рабочий класс, являлось не цеховое ремесло, а сельское хозяйство, не город, а деревня. Русский пролетариат складывался при этом не постепенно, веками, влача за собой груз прошлого, как в Англии, а скачками, путем крутой перемены обстановки, связей, отношений и резкого разрыва со вчерашним днем. Именно это – в сочетании с концентрированным гнетом царизма – сделало русских рабочих восприимчивыми к наиболее смелым выводам революционной мысли, подобно тому как запоздалая русская промышленность оказалась восприимчивой к последнему слову капиталистической организации.

Короткую историю своего происхождения русский пролетариат всегда воспроизводил заново. В то время как в металлообрабатывающей промышленности, особенно в Петербурге, кристаллизовался слой потомственных пролетариев, окончательно порвавших с деревней, на Урале преобладал еще тип полупролетария-полукрестьянина. Ежегодный приток свежей рабочей силы из деревень во все промышленные районы обновлял связь пролетариата с его основным социальным резервуаром.

Политическая недееспособность буржуазии непосредственно определялась характером ее отношений к пролетариату и крестьянству. Она не могла вести за собой рабочих, которые враждебно противостояли ей в повседневной жизни и очень рано научились обобщать свои задачи. Но она оказалась в такой же мере не способной вести за собой крестьянство, потому что была связана сетью общих интересов с помещиками и боялась потрясения собственности в каком бы то ни было виде. Запоздалость русской революции оказалась, таким образом, не только вопросом хронологии, но и вопросом социальной структуры нации.

Англия совершала свою пуританскую революцию, когда все население ее не превышало 5 1/2 – миллиона, из которых полмиллиона приходилось на Лондон. Франция в эпоху своей революции имела в Париже тоже лишь полмиллиона из 25 миллионов всего населения. Россия начала XX века насчитывала около 150 миллионов населения, из которых свыше трех миллионов приходилось на Петроград и Москву. За этими сравнительными цифрами скрываются величайшие социальные различия. Не только Англия XVII, но и Франция XVIII столетия не знали еще современного пролетариата. Между тем в России рабочий класс во всех областях труда, в городе и в деревне, насчитывал к 1905 году уже не менее 10 миллионов душ, что с семьями составляло свыше 25 миллионов, т. е. больше, чем население Франции в эпоху Вели-

кой революции. От крепких ремесленников и независимых крестьян армии Кромвеля – через санкюлотов Парижа – до индустриальных пролетариев Петербурга революция глубоко изменила свою социальную механику, свои методы, а тем самым и свои цели.

События 1905 года были прологом обеих революций 1917 года: Февральской и Октябрьской. В прологе были заложены все элементы драмы, но только не доведены до конца. Русско-японская война расшатала царизм. На фоне движения масс либеральная буржуазия напугала монархию своей оппозицией. Рабочие организовывались самостоятельно от буржуазии и в противовес ей, в виде советов, впервые призванных тогда к жизни. Крестьянство восставало за землю на огромном протяжении страны. Как крестьяне, так и революционные части армии тянулись к советам, которые в момент высшего подъема революции открыто оспаривали власть у монархии. Однако все революционные силы выступали тогда впервые, опыта у них не было и не хватало уверенности. Либералы демонстративно отшатнулись от революции именно в тот момент, когда обнаружилось, что недостаточно расшатать царизм, надо еще повалить его. Крутой разрыв буржуазии с народом, причем она и тогда уже увлекла за собой значительные круги демократической интеллигенции, облегчил монархии расслоение армии, выделение верных частей и кровавую расправу над рабочими и крестьянами. Хотя и недосчитываясь кое-каких ребер, царизм вышел все же из испытаний 1905 года живым и достаточно сильным.

Какие же изменения в соотношении сил внесло историческое развитие за 11 лет, отделивших пролог от драмы? Царизм пришел за этот период в еще большее противоречие с потребностями исторического развития. Буржуазия стала экономически более могущественной, но, как мы уже видели, это могущество опиралось на более высокую концентрацию промышленности и на возросшую роль иностранного капитала. Под действием уроков 1905 года буржуазия стала еще консервативнее и подозрительнее. Удельный вес мелкой и средней буржуазии, незначительный и ранее, еще более понизился. Какой-либо устойчивой социальной опоры у демократической интеллигенции вообще не было. Она могла иметь переходящее политическое влияние, но не могла играть самостоятельной роли: зависимость ее от буржуазного либерализма чрезвычайно возросла. Дать крестьянству программу, знамя, руководство мог при этих условиях только молодой пролетариат. Вставшие перед ним, таким образом, грандиозные задачи породили неотложную потребность в особой революционной организации, которая могла бы сразу охватить народные массы и сделать их способными к революционному действию под руководством рабочих. Так, советы 1905 года получили гигантское развитие в 1917 году. Что советы, отметим тут же, представляют собою не просто порождение исторической запоздалости России, а являются продуктом комбинированного развития, свидетельствует хотя бы тот факт, что пролетариат наиболее индустриальной страны, Германии, не нашел во время революционного подъема 1918–1919 годов другой формы организации, как советы.

Революция 1917 года все еще имела своей непосредственной задачей низвержение бюрократической монархии. Но, в отличие от старых буржуазных революций, в качестве решающей силы выступал теперь новый класс, сложившийся на основе концентрированной индустрии, вооруженный новой организацией и новыми методами борьбы. Закон комбинированного развития раскрывается здесь пред нами в крайнем своем выражении: начав с низвержения средневекового гнилья, революция в течение нескольких месяцев ставит у власти пролетариат с коммунистической партией во главе.

По отправным своим задачам русская революция являлась, таким образом, демократической революцией. Но она по-новому поставила проблему политической демократии. В то время как рабочие покрыли всю страну советами, включив в них солдат и отчасти крестьян, буржуазия все еще продолжала торговаться, созывать или не созывать ей Учредительное собрание.

В ходе изложения событий вопрос этот предстанет пред нами во всей своей конкретности. Здесь мы хотим только наметить место советов в историческом чередовании революционных идей и форм.

В середине XVII века буржуазная революция в Англии развернулась в оболочке религиозной реформации. Борьба за право молиться по собственному молитвеннику отождествлялась с борьбой против короля, аристократии, князей церкви и Рима. Просвитериане и пуритане были глубоко убеждены, что они свои земные интересы ставят под незыблемое покровительство божественного промысла. Задачи, за которые боролись новые классы, неразрывно сплелись в их сознании с текстами Библии и с формами церковного обихода. Эмигранты уносили с собою эту кровью скрепленную традицию за океан. Отсюда исключительная живучесть англосаксонских интерпретаций христианства. Мы видим, как и сегодня еще министры-социалисты Великобритании обосновывают свою трусость теми самыми магическими текстами, в которых люди XVII века искали оправдания для своего мужества.

Во Франции, перешагнувшей через реформацию, католическая церковь, в качестве государственной, дожила до революции, которая нашла не в текстах Библии, а в абстракциях демократии выражение и оправдание для задач буржуазного общества. Какова бы ни была ненависть нынешних заправил Франции к якобинизму, но факт таков, что именно благодаря суровой работе Робеспьера они все еще сохраняют возможность прикрывать свое консервативное господство формулами, при помощи которых было некогда взорвано старое общество.

Каждая из великих революций отмечала новый этап буржуазного общества и новые формы сознания его классов. Как Франция перешагнула через реформацию, так Россия перешагнула через формальную демократию. Русская революционная партия, которой предстояло наложить свою печать на целую эпоху, искала выражения для задач революции не в Библии и не в секуляризованном христианстве чистой демократии, а в материальных отношениях общественных классов. Советская система дала этим отношениям наиболее простое, незамаскированное, прозрачное выражение. Господство трудящихся впервые нашло свое осуществление в системе советов, которая, каковы бы ни были ее ближайшие исторические перипетии, так же неискоренимо проникла в сознание масс, как в свое время система реформации или чистой демократии.

Царская Россия в войне

Участие России в войне было противоречиво по мотивам и целям. Кровавая борьба велась, по существу, за мировое господство. В этом смысле она России была не по плечу. Так называемые военные цели самой России (турецкие проливы, Галиция, Армения) имели провинциальный характер и могли быть разрешены лишь попутно, в зависимости от степени их соответствия интересам решающих участников войны.

В то же время Россия, в качестве великой державы, не могла не участвовать в свалке передовых капиталистических стран, как она не могла, в предшествующую эпоху, не вводить у себя заводы, фабрики, железные дороги, скорострельные ружья и самолеты. Нередкие среди русских историков новейшей школы споры о том, в какой мере царская Россия созрела для современной империалистической политики, впадают сплошь и рядом в схоластику, ибо рассматривают Россию на международной арене изолированно, как самостоятельный фактор. Между тем она являлась лишь звеном системы.

Индия, и по существу и по форме, участвовала в войне, как колония Англии. Вмешательство Китая, в формальном смысле «добровольное», являлось на деле вмешательством раба в драку господ. Участие России проходило где-то посередине между участием Франции и участием Китая. Россия оплачивала таким путем право состоять в союзе с передовыми странами, ввозить капиталы и платить по ним проценты, т. е., по существу, свое право быть привилегированной колонией своих союзников; но в то же время и свое право давить и грабить Турцию, Персию, Галицию, вообще более слабых и отсталых, чем она сама. Двойственный империализм русской буржуазии имел в основе своей характер агентуры других, более могущественных, мировых сил.

Китайское компрадорство является классическим типом национальной буржуазии, конституированной по типу агентурного посредничества между иностранным финансовым капиталом и хозяйством собственной страны. В мировой иерархии государств Россия занимала до войны значительно более высокое место, чем Китай. Какое место заняла бы она после войны, не будь революции, вопрос другой. Но русское самодержавие, с одной стороны, русская буржуазия – с другой, несли в себе все более ярко выраженные черты компрадорства: они жили и питались связью с иностранным империализмом, служили ему и, не опираясь на него, держаться не могли. Правда, они в конце концов не устояли и при его поддержке. Полукомпрадорская русская буржуазия имела мировые империалистические интересы в том же смысле, в каком работающий с процента агент живет интересами своего хозяина.

Орудием войны является армия. Так как каждая армия в национальной мифологии считается непобедимой, то господствующие классы России не видели основания делать исключение и для царской армии. На деле же она представляла серьезную силу лишь против полуварварских народностей, мелких соседей и разлагающихся государств; на европейской арене могла действовать лишь в составе коалиций; в деле обороны выполняла свою задачу лишь в сочетании с необъятностью пространств, редкостью населения и непроходимостью путей. Виртуозом армии крепостных мужиков был Суворов. Французская революция, распахнувшая двери новому обществу и новому военному искусству, вынесла суворовской армии смертный приговор.

Полуотмена крепостного права и введение всеобщей воинской повинности модернизировали армию в тех же пределах, что и страну, т. е. внесли в армию все противоречия нации, которой еще только предстояло проделать свою буржуазную революцию. Правда, царская армия строилась и вооружалась по западным образцам; но это касалось больше формы, чем существа. Между культурным уровнем крестьянина-солдата и уровнем военной техники не было соответствия. В командном составе находили свое выражение невежество, леность и ворован-

тость господствующих классов России. Промышленность и транспорт неизменно обнаруживали свою несостоятельность перед лицом концентрированных запросов военного времени. Вооруженные, казалось бы, в первый день войны как следует, войска вскоре уже оказывались не только без оружия, но и без сапог. В русско-японской войне царская армия показала, чего она стоит. В эпоху контрреволюции монархия, при помощи Думы, пополнила военные склады и наложила на армию множество заплат, в том числе и на репутацию ее непобедимости. В 1914 году пришла новая, гораздо более тяжелая проверка.

В отношении военного снабжения и финансов Россия сразу оказывается во время войны в рабской зависимости от своих союзников. Это есть лишь военное выражение ее общей зависимости от передовых капиталистических стран. Но помощь со стороны союзников не спасает положения. Недостаток боевых припасов, малочисленность заводов для их производства, редкость железнодорожной сети для их подвоза перевели отсталость России на общепонятный язык поражений, которые напомнили русским национал-либералам, что их предки не совершали буржуазной революции и что потомки поэтому в долгу перед историей.

Первые дни войны были и первыми днями позора. После ряда частных катастроф разразилось весною 1915 года общее отступление. Свою преступную бездарность генералы вымещали на мирном населении. Громадные пространства насильственно опустошались. Человеческая саранча угонялась нагайками в тыл. Внешний разгром дополнялся внутренним.

В ответ на тревожные вопросы своих коллег о положении на фронте военный министр генерал Поливанов отвечал дословно: «Уповаю на пространства непроходимые, на грязь невылазную и на милость угодника Николая Мирликийского, покровителя Святой Руси» (заседание 4 августа 1915 года). Через неделю генерал Рузский признавался тем же министрам: «Современные требования военной техники для нас непосильны. Во всяком случае, за немцами нам не угнаться». Это не было минутное настроение. Офицер Станкевич передает слова корпусного инженера: «Воевать с немцами безнадежно, ибо мы ничего не в состоянии сделать. Даже новые приемы борьбы превращаются в причины наших неудач». Таких отзывов тьма.

Единственное, что русские генералы делали с размахом, это извлечение человеческого мяса из страны. С говядиной и свининой обращались несравненно экономнее. Серые штабные ничтожества, как Янушкевич при Николае Николаевиче и Алексеев при царе, затыкали все прорехи новыми мобилизациями и утешали себя и союзников колоннами цифр, когда нужны были колонны бойцов. Мобилизовано было около 15 миллионов человек, которые заполняли депо, казармы, этапные пункты, толпились, топтались, наступая друг другу на ноги, ожесточаясь и проклиная. Если для фронта эти человеческие массы были мнимой величиной, то они являлись очень действительным фактором разрухи в тылу. Около 51/2 миллиона числились убитыми, ранеными и в плену. Число дезертиров росло. Уже в июле 1915 года министры причитали: «Бедная Россия. Даже ее армия, которая в былые времена наполняла мир громом побед... и та оказывается состоящею из одних только трусов и дезертиров».

Сами министры, в стиле висельников острившие над «генеральскою отступательною храбростью», тратили в то же время часы на обсуждение проблемы: вывозить или не вывозить из Киева мощи? Царь полагал, что не надо, так как «немцы не рискнут их тронуть, а если тронут – тем хуже для немцев». Но Синод уже приступил к вывозу: «Когда мы выезжаем, то берем с собою самое дорогое». Это происходило не в эпоху Крестовых походов, а в XX веке, когда известия о русских поражениях передавались по радио.

Успехи России против Австро-Венгрии коренились больше в Австро-Венгрии, чем в России. Распадавшаяся габсбургская монархия давно предъявляла спрос на могильщика, не требуя от него высокой квалификации. Россия и в прошлом имела успех против внутренне разлагавшихся государств, как Турция, Польша или Персия. Юго-Западный фронт русских войск, обращенный против Австро-Венгрии, знал крупные победы, которые выделяли его из других фронтов. Здесь выдвинулось несколько генералов, которые, правда, ничем не доказали своих

военных дарований, но не были, по крайней мере, пропитаны насквозь фатализмом неизменно битых военачальников. Из этой среды вышло в дальнейшем несколько белых «героев» гражданской войны.

Все искали, на кого бы свалить вину. Обвиняли поголовно евреев в шпионаже. Громили людей с немецкими фамилиями. Штаб великого князя Николая Николаевича приказал расстрелять жандармского полковника Мясоедова, как немецкого шпиона, которым он, по-видимому, не был. Арестовали Сухомлинова, военного министра, пустого и неопрятного человека, обвинив его, может быть и не без основания, в измене. Британский министр иностранных дел Грэй сказал председателю русской парламентской делегации: Ваше правительство очень смелое, если решается во время войны обвинить военного министра в измене». Штабы и Дума обвиняли двор в германофильстве. Все вместе завидовали союзникам и ненавидели их. Французское командование щадило свои армии, подставляя русских солдат. Англия раскачивалась медленно. В гостиных Петрограда и штабах фронта мило шутили: «Англия поклялась держаться до последней капли крови... русского солдата». Эти шуточки ползли вниз и доползали до фронта. «Все для войны!» – говорили министры, депутаты, генералы, журналисты. «Да, – начинал размышлять в окопе солдат, – они все готовы воевать до последней капли... моей крови».

Русская армия потеряла за всю войну убитыми более, чем какая-либо армия, участвовавшая в войне народов, именно около 2 1/2 миллиона душ, или 40 % потерь всех армий Антанты. В первые месяцы солдаты гибли под снарядами не рассуждая или рассуждая мало. Но у них накапливался со дня на день опыт, горький опыт низов, которыми не умеют командовать. Они измеряли масштаб генеральской путаницы бесцельными передвижениями на отступающих подошвах и числом несъеденных обедов. От кровавой мешанины людей и вещей исходило обобщающее слово: *бессмыслица*, которое на солдатском языке заменялось другим, более сочным словом.

Быстрее всего разлагалась крестьянская пехота. Артиллерия, с высоким процентом промышленных рабочих, отличается вообще несравненно большей восприимчивостью к революционным идеям: это ярко сказалось в 1905 году. Если в 1917-м артиллерия, наоборот, обнаружила больший консерватизм, чем пехота, то причина в том, что через пехотные части, как через решето, проходили все новые и все менее обработанные человеческие массы; артиллерия же, несшая неизмеримо меньше потерь, сохраняла старые кадры. То же наблюдалось и в других специальных войсках. Но в конце концов сдавала и артиллерия.

Во время отступления из Галиции издан был секретный приказ Верховного главнокомандующего: пороть солдат розгами за дезертирство и другие преступления. Солдат Пирейко рассказывает: «Стали пороть солдат розгами за самый мельчайший проступок, например за самовольную отлучку из части на несколько часов, а иногда просто пороли для того, чтобы розгами поднять воинский дух». Уже 17 сентября 1915 года Куропаткин записывал, ссылаясь на Гучкова: «Нижние чины начали войну с подъемом. Теперь утомлены и от постоянного отступления потеряли веру в победу». В это же приблизительно время министр внутренних дел отзывался о находящихся в Москве 30 000 выздоравливающих солдат:

«Это буйная вольница, не признающая дисциплины, скандалящая, вступающая в стычки с городскими (недавно один был убит солдатами), отбивающая арестованных и т. д. Несомненно, что в случае беспорядков вся эта орда встанет на сторону толпы». Тот же солдат Пирейко пишет: «Все поголовно интересовались только миром... Кто победит и какой будет мир – это меньше всего интересовало армию: ей нужен был мир во что бы то ни стало, ибо она устала от войны».

Наблюдательная женщина С. Федорченко подслушала, в качестве сестры милосердия, разговоры солдат, почти что мысли их, и умело записала на разрозненных страничках. Получившаяся таким путем небольшая книжка «Народ на войне» позволяет заглянуть в ту лабо-

раторию, где бомбы, колючая проволока, удушливые газы и низость властей обрабатывали в течение долгих месяцев сознание нескольких миллионов русских крестьян и где наряду с человеческими костями хрустели вековые предрассудки. Во многих самодельных солдатских афоризмах заключались уже лозунги грядущей гражданской войны.

Генерал Рузский жаловался в декабре 1916 года, что Рига – несчастье Северного фронта. Это «распропагандированное гнездо», как и Двинск. Генерал Брусилов подтверждал: из рижского района части прибывали деморализованными, солдаты отказывались идти в атаку, одного ротного подняли на штыки, пришлось расстрелять несколько человек, и пр. «Почва для окончательного разложения армии имелаась налицо задолго до переворота», – признает Родзянко, связанный с офицерством и посещавший фронт.

Первоначально разрозненные революционные элементы тонули в армии почти бесследно. Но по мере роста общего недовольства они всплывали. Отправка на фронт, в виде кары, рабочих-забастовщиков пополняла ряды агитаторов, а отступления создавали для них благоприятную аудиторию. «Армия в тылу и в особенности на фронте, – доносит охранка, – полна элементами, из которых одни способны стать активной силой восстания, а другие могут лишь отказаться от усмирительных действий». Петроградское губернское жандармское управление доносит в октябре 1916 года, на основании доклада уполномоченного Земского союза, что настроение в армии тревожное, отношения между офицерами и солдатами крайне натянутые, имеют место даже кровавые столкновения, повсюду тысячами встречаются дезертиры. «Всякий, побывавший вблизи армии, должен вынести полное и убежденное впечатление о безусловном моральном разложении войск». Из осторожности доклад прибавляет, что хотя многое в этих сообщениях и кажется маловероятным, однако приходится верить, так как многие врачи, вернувшиеся из действующей армии, делали сообщения в том же духе.

Настроения тыла отвечали настроениям фронта. На конференции кадетской партии в октябре 1916 года большинство делегатов отмечало апатию и неверие в победоносный исход войны – «во всех слоях населения, в особенности же в деревне и в среде городской бедноты». 30 октября 1916 года директор департамента полиции писал в сводке донесений о «наблюдаемом повсеместно и во всех слоях населения как бы утомлении войной и жажде скорейшего мира, безразлично, на каких бы условиях таковой ни был заключен».

Через несколько месяцев все эти господа, депутаты и полицейские, генералы и земские уполномоченные, врачи и бывшие жандармы, будут одинаково утверждать, что революция убила в армии патриотизм и что верную победу вырвали у них из рук большевики.

* * *

Корифеями в хоре воинствующего патриотизма выступали, без сомнения, конституционалисты-демократы (кадеты). Разорвав свои проблематические связи с революцией еще в конце 1905 года, либерализм с начала контрреволюции поднял знамя империализма. Одно вытекало из другого: раз нет возможности очистить страну от феодального хлама, чтобы обеспечить буржуазии господствующее положение, остается заключить союз с монархией и дворянством, чтобы обеспечить капиталу лучшее положение на мировой арене. Если верно, что мировую катастрофу готовили с разных концов, так что она явилась, до некоторой степени, неожиданной даже для наиболее ответственных ее организаторов, то столь же несомненно, что в подготовке ее русский либерализм, как вдохновитель внешней политики монархии, занимал не последнее место. Войну 1914 года вожди русской буржуазии с полным правом встретили, как свою войну. В торжественном заседании Государственной думы 26 июля 1914 года представитель кадетской фракции заявил: «Мы не ставим условий и требований, мы просто кладем на весы твердую волю одолеть противника». Национальное единение стало и в России официальной доктриной. Во время патриотических манифестаций в Москве оберцеремоний-

мейстер граф Бенкендорф заявил дипломатам: «Вот вам революция, которую нам предсказывали в Берлине!» «Подобная мысль, — поясняет французский посол Палеолог, — по-видимому, захватывает всех». Люди считали своим долгом питать и сеять иллюзии в обстановке, которая, казалось бы, начисто их исключала.

Отрезвляющих уроков пришлось ждать недолго. Уже вскоре после начала войны один из наиболее экспансивных кадетов, адвокат и помещик Родичев, воскликнул на заседании Центрального комитета своей партии: «Да неужели вы думаете, что с этими дураками можно победить!» События показали, что с дураками победить нельзя. Потеряв, на добрую половину, веру в победу, либерализм пытался использовать инерцию войны для того, чтобы произвести чистку камарильи и принудить монархию к соглашению. Главным орудием для этой цели служило обвинение придворной партии в германофильстве и подготовке сепаратного мира.

Весной 1915 года, когда безоружные войска отступали по всему фронту, в правительственных сферах решено было, не без давления союзников, привлечь инициативу частной промышленности к работе на армию. Созданное с этой целью Особое совещание включало, наряду с бюрократами, наиболее влиятельных промышленных деятелей. Земский и городской союзы, возникшие в начале войны, и военно-промышленные комитеты, созданные весной 1915 года, стали опорными позициями буржуазии в борьбе за победу и за власть. Государственная дума, опираясь на эти организации, должна была увереннее выступать как посредница между буржуазией и монархией.

Широкие политические перспективы не отвлекали, однако, взоров от полновесных задач дня. Из Особого совещания, как из центрального резервуара, десятки и сотни миллионов, славившихся в миллиарды, распределялись по разветвленным каналам, обильно орошая промышленность и питая по пути множество appetitов. В Государственной думе и в печати оглашались некоторые военные прибыли за 1915–1916 годы: товарищество московских либеральных текстильщиков Рябушинских показало 75 % чистой прибыли; тверская мануфактура — даже 111 %; меднопрокатный завод Кольчугина принес свыше 12 миллионов при основном капитале в 10 миллионов. В этом секторе добродетель патриотизма награждалась щедро и притом немедленно.

Спекуляция всех видов и игра на бирже достигли пароксизма. Громадные состояния возникали из кровавой пены. Недостаток в столице хлеба и топлива не мешал придворному ювелиру Фаберже хвалиться тем, что никогда еще он не делал таких прекрасных дел. Фрейлина Вырубова рассказывает, что ни в один сезон не заказывалось столько дорогих нарядов, как зимой 1915/16 года, и не покупалось столько бриллиантов. Ночные учреждения были переполнены героями тыла, легальными дезертирами и просто почтенными людьми, слишком старыми для фронта, но достаточно молодыми для радостей жизни. Великие князья были не последними из участников пира во время чумы. Никто не боялся израсходовать слишком много. Сверху падал непрерывный золотой дождь. «Общество» подставляло руки и карманы, аристократические дамы высоко поднимали подолы, все шлепали по кровавой грязи — банкиры, интенданты, промышленники, царские и великокняжеские балерины, православные иерархи, фрейлины, либеральные депутаты, фронтовые и тыловые генералы, радикальные адвокаты, сиятельные ханжи обоего пола, многочисленные племянники и особенно племянницы. Все спешили хватать и жрать, в страхе, что благодатный дождь прекратится, и все с негодованием отвергали позорную идею преждевременного мира.

Общие барыши, внешние поражения, внутренние опасности сблизили между собою партии имущих классов. Разъединенная накануне войны Дума получила в 1915 году свое патриотически-оппозиционное большинство, принявшее название «прогрессивного блока». Официальной целью его было объявлено, разумеется, «удовлетворение нужд, вызванных войною». Слева не вошли в блок социал-демократы и трудовики, справа — заведомо черносотенные группировки. Все остальные фракции Думы — кадеты, прогрессисты, три группы октябри-

стов, центр и часть националистов – входили в блок или примыкали к нему, как и национальные группы: поляки, литовцы, мусульмане, евреи и пр. Чтобы не испугать царя формулой ответственного министерства, блок требовал «объединенного правительства из лиц, пользующихся доверием страны». Министр внутренних дел князь Щербатов тогда же охарактеризовал прогрессивный блок как временное «объединение, вызванное опасениями социальной революции». Чтобы понять это, не нужно было, впрочем, большой проницательности. Милюков, возглавлявший кадет, а тем самым и оппозиционный блок, говорил на конференции своей партии: «Мы ходим по вулкану... Напряжение достигло последнего предела... Достаточно неосторожно брошенной спички, чтобы вспыхнул страшный пожар... Какова бы ни была власть, – худа или хороша, – но сейчас твердая власть необходима более, чем когда-либо».

Надежда на то, что царь под тяжестью поражений пойдет на уступки, была так велика, что в либеральной печати появился в августе готовый список предполагаемого «кабинета доверия», с председателем Думы Родзянко в качестве премьера (по другой версии, на эту роль намечался председатель Земского союза князь Львов), с министром внутренних дел – Гучковым, иностранных дел – Милюковым и т. д. Большинство этих лиц, предназначавших себя для союза с царем против революции, оказались через полтора года членами «революционного» правительства. Такие выходы история позволяла себе не раз. На этот раз шутка оказалась, по крайней мере, короткой.

Большинство министров кабинета Горемыкина было не менее кадет запугано ходом дел и потому склонялось к соглашению с прогрессивным блоком. «Правительство, которое не имеет за собою доверия ни носителя верховной власти, ни армии, ни городов, ни земств, ни дворян, ни купцов, ни рабочих, не может не только работать, но и существовать. Это очевидный абсурд». Такими словами князь Щербатов оценивал в августе 1915 года то правительство, в котором он сам состоял министром внутренних дел. «Если только обставить все прилично и дать лазейку, – говорил министр иностранных дел Сазонов, – то кадеты первые пойдут на соглашение. Милюков – величайший буржуй и больше всего боится социальной революции. Да и большинство кадетов дрожат за свои капиталы». С своей стороны, и Милюков считал, что прогрессивному блоку придется «кое в чем поступиться». Торговаться готовы были, следовательно, обе стороны, и дело казалось совсем на мази. Но 29 августа премьер Горемыкин, отягощенный годами и почестями бюрократ, старый циник, делавший политику меж двух гранпасьянсов и отговаривавшийся от всяких жалоб тем, что война его «не касается», выехал в Ставку к царю с докладом и вернулся с сообщением, что все и вся должны оставаться на месте, кроме строптивой Думы, которая должна быть распущена 3 сентября. Чтение царского указа о роспуске Думы было выслушано без единого слова протеста: депутаты прокричали царю «ура» и разошлись.

Каким же образом царское правительство, ни на кого, по собственному признанию, не опиравшееся, продержалось после этого еще свыше полутора лет? Временные успехи русских войск оказали несомненно свое действие, подкрепленное действием благодатного золотого дождя. Успехи на фронте, правда, скоро прекратились, но прибыли в тылу продолжались. Однако главная причина упорения монархии за двенадцать месяцев до ее низвержения коренилась в резкой дифференциации народного недовольства. Начальник московского охранного отделения доносил о поправении буржуазии под влиянием «страха пред возможностью революционных, после войны, эксцессов»: во время войны, как видим, революция все еще считалась исключенной. Промышленников тревожило, сверх того, «заигрывание некоторых руководителей военно-промышленных комитетов с пролетариатом». Общий вывод жандармского полковника Мартынова, для которого не бесследно прошло профессиональное чтение марксистской литературы, гласил, что причиной некоторого улучшения политической обстановки является «все более и более прогрессирующая дифференциация общественных классов,

вскрывающая резкие противоречия в их интересах, особенно остро чувствуемые в переживаемое время».

Роспуск Думы в сентябре 1915 года был прямым вызовом буржуазии, а не рабочим. Но в то время как либералы расходились при криках «ура», правда, не очень восторженных, рабочие Петрограда и Москвы ответили стачками протеста. Это еще более охладило либералов: они пуще всего боялись вмешательства непрошеного третьего в их семейный диалог с монархией. Но что делать дальше? Под легкое ворчанье левого крыла либерализм остановил свой выбор на испытанном рецепте: стоять исключительно на легальной почве и сделать бюрократию «как бы ненужной» путем выполнения патриотических функций. Список либерального министерства пришлось во всяком случае отложить.

Положение тем временем ухудшалось автоматически. В мае 1916 года Дума была снова собрана, но никто, собственно, не знал зачем. Призывать к революции Дума во всяком случае не собиралась. А кроме этого ей нечего было сказать. «В этой сессии, – вспоминает Родзянко, – занятия шли вяло, депутаты неисправно посещали заседания... Постоянная борьба казалась бесплодной, правительство ничего не хотело слушать, неурядица росла, и страна шла к гибели». В страхе буржуазии перед революцией и в бессилии буржуазии без революции монархия почерпала в течение 1916 года подобие общественной опоры.

К осени положение еще более обострилось. Безднадежность войны стала очевидной для всех, возмущение народных масс грозило вот-вот перелиться через край. Атакуя по-прежнему дворцовую партию за «германофильство», либералы считали в то же время необходимым прощупать шансы мира, подготавливая свой завтрашний день. Только так и объясняются стокгольмские переговоры одного из вождей прогрессивного блока, депутата Протопопова, с немецким дипломатом Варбургом в Стокгольме осенью 1916 года. Думская делегация, нанеся дружественные визиты французам и англичанам, могла без труда убедиться в Париже и Лондоне, что дорогие союзники намерены во время войны выжать из России все жизненные соки, чтобы после победы сделать отсталую страну главным полем своей экономической эксплуатации. Разбитая Россия на буксире победоносной Антанты означала бы колониальную Россию. Русским имущим классам не оставалось иного выхода, как попытаться высвободиться из слишком тесных объятий Антанты и найти самостоятельный путь к миру, используя антагонизм двух могущественных лагерей. Свидание председателя думской делегации с немецким дипломатом, как первый шаг на этом пути, означало и угрозу по адресу союзников с целью добиться уступок, и прощупывание действительной возможности сближения с Германией. Протопопов действовал в согласии не только с царской дипломатией, – самое свидание происходило в присутствии русского посла в Швеции, – но и со всей делегацией Государственной думы. Попутно либералы преследовали этой разведкой немаловажную внутреннюю цель: положись на нас, намеркали они царю, и мы тебе устроим сепаратный мир лучше и надежнее Штюрмера. По плану Протопопова, т. е. его вдохновителей, русское правительство должно было известить союзников «за несколько месяцев вперед», что вынуждено прекратить войну, причем если бы союзники отказались от ведения мирных переговоров, Россия должна была заключить сепаратный мир с Германией. В своей исповеди, написанной уже после революции, Протопопов говорит как о чем-то само собою разумеющемся: «Все разумные люди в России, в числе их едва ли не все лидеры партии “народной свободы” (ка-де), были убеждены, что Россия не в состоянии продолжать войну».

Царь, которому Протопопов по возвращении докладывал о поездке и переговорах, отнесся к идее сепаратного мира с полным сочувствием. Он только не видел оснований привлекать к этому делу либералов. То, что сам Протопопов мимоходом включился в состав дворцовой камарильи, порвав с прогрессивным блоком, объясняется личным характером этого фата, влюбившегося, по собственным словам, в царя и царицу и заодно – в неожиданный портфель министра внутренних дел. Но эпизод протопоповской измены либерализму несколько

не меняет общего смысла либеральной внешней политики как сочетания жадности, трусости и вероломства.

1 ноября снова собралась Дума. Напряжение в стране стало невыносимым. От Думы ждали решительных шагов. Надо было что-нибудь сделать или, по крайней мере, сказать. Прогрессивный блок снова оказался вынужден прибегнуть к парламентским обличениям. Перечисляя с трибуны главнейшие шаги правительства, Милюков каждый раз спрашивал: «Глупость это или измена?» Высокие ноты взяты были и другими депутатами. Правительство почти не нашло защитников. Оно ответило по-своему: речи думских ораторов были запрещены для печати. Они разошлись поэтому в миллионах экземпляров. Не было правительственной канцелярии не только в тылу, но и на фронте, где не переписывались бы запретные речи, нередко с дополнениями, отвечавшими темпераменту переписчика. Резонанс прений 1 ноября был таков, что обдал жутью самих обличителей.

Группа крайних правых, матерых бюрократов, вдохновлявшихся Дурново, усмирителем революции 1905 года, подала в этот момент царю программную записку. Глаз многоопытных сановников, прошедших серьезную полицейскую школу, видел кое-что неплохо и достаточно далеко, и если их рецептура была негодной, то лишь потому, что против болезней старого режима вообще не существовало лекарства. Авторы записки выступали против каких бы то ни было уступок буржуазной оппозиции не потому, что либералы захотят зайти слишком далеко, как думают вульгарные черносотенцы, на которых сановные реакционеры глядели свысока, – нет, беда в том, что либералы «столь слабы, столь разрозненны и, надо говорить прямо, столь бездарны, что торжество их было бы столь же кратковременно, сколь и непрочно». Слабость главной из оппозиционных партий, «конституционно-демократической» (кадетской) определяется уже ее именем: она назвалась демократической, хотя по существу своему буржуазна; будучи в значительной мере партией либеральных помещиков, она вписала в программу принудительный выкуп земли. «Без этих козырей из чужой, не ихней колоды, – пишут тайные советники, пользуясь привычными им образами, – кадеты есть не более как многочисленное сообщество либеральных адвокатов, профессоров и чиновников разных ведомств – ничего более». Иное дело – революционеры. Признание значительности революционных партий записка сопровождает скрежетом зубов: «Опасность и силу этих партий составляет то, что у них есть идея, есть деньги (!), есть толпа, готовая и хорошо организованная». Революционные партии «вправе рассчитывать на сочувствие подавляющего большинства крестьянства, которое пойдет за пролетарием тотчас же, как революционные вожди укажут им чужую землю». Что дало бы при этих условиях установление ответственного министерства? «Полный и окончательный разгром партий правых, постепенное поглощение партий промежуточных: центра, либеральных консерваторов, октябристов и прогрессистов партией кадетов, которая поначалу и получила бы решающее значение. Но кадетам грозила бы та же участь... А затем? Затем выступила бы революционная толпа, коммуна, гибель династии, погромы имущественных классов и, наконец, мужик-разбойник». Нельзя отрицать, что реакционно-полицейская злоба поднимается здесь до своеобразного исторического предвидения.

Положительная программа записки не нова, но последовательна: правительство из беспощадных сторонников самодержавия; упразднение Думы; осадное положение в обеих столицах; подготовка сил для подавления мятежа. Эта программа и была, в сущности, положена в основу правительственной политики последних предреволюционных месяцев. Но успех ее предполагал силу, которая оказалась в руках Дурново зимою 1905 года, но которой уже не существовало осенью 1916 года. Монархия пыталась поэтому задушить страну украдкой и по частям. Министерство было обновлено по принципу «своих» людей, безусловно преданных царю и царице. Но эти «свои», и прежде всего перебежчик Протопопов, были ничтожны и жалки. Дума не была упразднена, но снова распущена. Объявление осадного положения в Петрограде было прибережено для того момента, когда революция уже одержала победу. А воен-

ные силы, подготовленные для подавления мятежа, оказались сами охвачены мятежом. Все это обнаружилось уже через два-три месяца.

Либерализм тем временем делал последние усилия спасти положение. Все организации цензовой буржуазии поддерживали ноябрьские речи думской оппозиции рядом новых заявлений. Самой дерзкой явилась резолюция союза городов 9 декабря: «Безответственные преступники, изуверы готовят России поражение, позор и рабство». Государственная дума призывалась «не расходиться до тех пор, пока создание ответственного правительства не будет достигнуто». Даже Государственный совет, орган бюрократии и крупной собственности, высказался за призыв к власти лиц, пользующихся доверием страны. Подобное же ходатайство возбудил и съезд объединенного дворянства: заговорили покрытые мохом камни. Но ничто не изменилось. Монархия не выпускала остатки власти из рук.

Последняя сессия последней Думы, после колебаний и проволочек, была назначена на 14 февраля 1917 года. До пришествия революции оставалось меньше двух недель. Ждали демонстраций. В кадетском органе «Речь» рядом с объявлением начальника Петроградского военного округа генерала Хабалова, запрещающим демонстрации, напечатано было письмо Милюкова, предостерегавшее рабочих против «дурных и опасных советов», исходящих из «темного источника». Несмотря на стачки, открытие Думы обошлось сравнительно спокойно. Делая вид, что вопрос о власти ее больше не интересует, Дума занялась хоть и острым, но чисто деловым вопросом: продовольствием. Настроение было вялое, вспоминал впоследствии Родзянко, «чувствовалось бессилие Думы, утомленность в бесполезной борьбе». Милюков повторял, что прогрессивный блок «будет действовать словом и только словом». Такою Дума вступила в водоворот Февральской революции.

Пролетариат и крестьянство

Русский пролетариат проделывал свои первые шаги в политических условиях деспотического государства. Запрещенные законом стачки, подпольные кружки, нелегальные прокламации, уличные демонстрации, столкновения с полицией и войсками – такова была школа, созданная сочетанием условий быстро развивающегося капитализма и медленно сдающего свои позиции абсолютизма. Сосредоточенность рабочих на гигантских предприятиях, концентрированный характер государственного гнета, наконец, импульсивность молодого и свежего пролетариата привели к тому, что политическая стачка, столь редкая на Западе, стала в России основным методом борьбы.

Годы Число участн. полит. стачек (в тысячах)¹

1903.....	87*
1904.....	25*
1905.....	1843
1906.....	661
1907.....	540
1908.....	93
1909.....	8
1910.....	4
1911.....	8
1912.....	550
1913.....	502
1914(первая половина)...	1059
1915.....	156
1916.....	310
1917 (январь – февраль)...	575

Цифры рабочих стачек, с начала нынешнего столетия, являются наиболее поучительными индексами политической истории России. При всем желании не загромождать текст цифрами невозможно отказаться от приведения таблицы политических стачек в России за период 1903–1917 годов. Данные, сведенные к своему простейшему выражению, относятся только к предприятиям, подчиненным фабричной инспекции; железные дороги, горнозаводская промышленность, ремесленные и вообще мелкие предприятия, не говоря уже о сельском хозяйстве, по разным причинам не входят в подсчет. Но изменения стачечной кривой по периодам выступают от этого не менее отчетливо.

Пред нами единственная в своем роде кривая политической температуры нации, несущей в своем чреве великую революцию. В отсталой стране, с малочисленным пролетариатом – в предприятиях, подчиненных фабричной инспекции, около 1 1/2 миллиона рабочих в 1905 году, около 2 миллионов – в 1917 году! – стачечное движение получает такой размах, какого оно не знало раньше нигде в мире. При слабости мелкобуржуазной демократии, при раздробленности и политической слепоте крестьянского движения революционная стачка рабочих становится тараном, который пробуждающаяся нация направляет против стены абсолютизма. 1 843 000 участников политических стачек одного 1905 года – рабочие, участвовавшие в нескольких стачках, засчитаны здесь, разумеется, повторно, – одно это число позволило бы нам указать пальцем в таблице год революции, если бы мы ничего больше не знали о политическом календаре России.

¹ За 1903 и 1904 годы данные относятся ко всем вообще стачкам, при несомненном преобладании экономических.

За 1904 год, первый год Русско-японской войны, фабричная инспекция показала всего лишь 25 тысяч стачечников. В 1905 году политических и экономических стачечников вместе было 2863 тысячи, в 115 раз больше, чем в предшествующем году. Этот поразительный скачок сам по себе наводит на ту мысль, что пролетариат, вынужденный ходом событий импровизировать такую небывалую революционную активность, должен был, какой угодно ценою, выдвинуть из своих недр организацию, отвечающую размаху борьбы и грандиозности задач: это и были *советы*, рожденные первой революцией и ставшие органами всеобщей стачки и борьбы за власть.

Разбитый в декабрьском восстании 1905 года пролетариат делает героические усилия отстоять часть завоеванных позиций в течение двух следующих годов, которые, как показывают цифры стачек, еще непосредственно примыкают к революции, являясь, однако, уже годами отлива. Четыре дальнейших года (1908–1911) выступают в зеркале стачечной статистики как годы победоносной контрреволюции. Совпадающий с ней промышленный кризис еще больше истощает и без того обескровленный пролетариат. Глубина упадка симметрична высоте подъема. Конвульсии нации находят свой отпечаток в этих простых цифрах.

Промышленное оживление, начавшееся в 1910 году, ставит рабочих на ноги и дает новый толчок их энергии. Цифры 1912–1914 годов почти повторяют данные 1905–1907 годов, но в обратном порядке: не от подъема к упадку, а от упадка к подъему. На новых, более высоких исторических основах – теперь больше рабочих, и у них больше опыта – открывается новое революционное наступление. Первое полугодие 1914 года явно приближается по числу политических стачечников к кульминационному году первой революции. Но разражается война и круто обрывает этот процесс. Первые ее месяцы запечатлены политической неподвижностью рабочего класса. Но уже весной 1915 года оцепенение начинает проходить. Открывается новый цикл политических стачек, который в феврале 1917 года разрешается восстанием рабочих и солдат.

Резкие приливы и отливы массовой борьбы делали русский пролетариат на протяжении нескольких лет как бы неузнаваемым. Заводы, которые два-три года тому назад единодушно бастовали по поводу какого-либо отдельного акта полицейского произвола, сегодня совершенно теряли революционный облик и оставляли без отпора самые чудовищные преступления властей. Большие поражения обескураживают надолго. Революционные элементы теряют власть над массой. В ее сознании поднимаются наверх неперегоревшие предрассудки и суеверия. Серые выходцы деревни разбавляют тем временем рабочие ряды. Скептики иронически покачивают головами. Так было в 1907–1911 годах. Но молекулярные процессы в массах залечивают психические раны поражений. Новый поворот событий или подспудный экономический толчок открывает новый политический цикл. Революционные элементы снова находят свою аудиторию. Борьба возрождается на более высокой ступени.

Для понимания двух главных течений в русском рабочем классе важно иметь в виду, что меньшевизм окончательно оформился в годы реакции и отлива, опираясь главным образом на тонкий слой рабочих, порвавших с революцией; тогда как большевизм, жестоко разгромленный в период реакции, стал быстро подниматься в годы перед войной на гребне нового революционного прилива. «Наиболее энергичным, бодрым, способным к неутомимой борьбе, к сопротивлению и постоянной организации является тот элемент, те организации и те лица, которые концентрируются вокруг Ленина», – такими словами оценивал департамент полиции работу большевиков за годы, предшествовавшие войне.

В июле 1914 года, когда дипломаты вбивали последние гвозди в крест, предназначенный для распятия Европы, Петроград кипел революционным котлом. Возлагать венок на гробницу Александра III президенту Французской республики Пуанкаре пришлось под последние отголоски уличной борьбы и первые звуки патриотических манифестаций.

Привело ли бы наступательное массовое движение 1912–1914 годов непосредственно к низвержению царизма, если бы не врезалась война? Ответить на этот вопрос вряд ли возможно с полной уверенностью. Процесс неотвратимо вел к революции. Но через какие этапы пришлось бы при этом пройти? Не подстерегало ли его еще одно поражение? Какой срок понадобился бы рабочим, чтобы поднять крестьян и завоевать армию? Во всех этих направлениях возможны только догадки. Война, во всяком случае, первоначально дала процессу задний ход, чтобы тем более мощно ускорить его на следующей стадии и обеспечить ему сокрушительную победу.

При первом звуке барабана революционное движение замерло. Наиболее активные слои рабочих оказались мобилизованы. Революционные элементы выбрасывались с заводов на фронт. За стачки налагались суровые кары. Рабочая печать была сметена. Профессиональные союзы задушены. В мастерские вливались сотни тысяч женщин, подростков, крестьян. Политически война, в сочетании с крушением Интернационала, чрезвычайно дезориентировала массы и дала возможность поднявшей голову заводской администрации выступать патриотически от имени заводов, увлекая за собой значительную часть рабочих и заставляя выжидательно замкнуться наиболее смелых и решительных. Революционная мысль чуть теплилась в небольших и притихших кружках. Назвать себя «большевиком» в это время никто на заводах не отваживался, чтобы не подвергнуться аресту, а то и побоям со стороны отсталых рабочих.

Большевистская фракция в Думе, слабая по личному составу, оказалась в момент возникновения войны не на высоте. Вместе с депутатами-меньшевиками она внесла декларацию, в которой обязывалась «защищать культурные блага народа от всяких посягательств, откуда бы они ни исходили». Дума аплодисментами подчеркнула эту сдачу позиции. Из русских организаций и групп партии ни одна не заняла открыто пораженческой позиции, которую за границей провозгласил Ленин. Однако процент патриотов среди большевиков оказался незначительным. В противовес народникам и меньшевикам, большевики уже с 1914 года стали разворачивать в массах печатную и устную агитацию против войны. Думские депутаты вскоре оправились от растерянности и возобновили революционную работу, о которой власти были очень близко осведомлены благодаря разветвленной системе провокации. Достаточно сказать, что из семи членов петербургского комитета партии накануне войны три состояли на службе охраны. Так царизм играл в жмурки с революцией. В ноябре депутаты-большевики были арестованы. Начался общий разгром партии во всей стране. В феврале 1915 года дело фракции слушалось в судебной палате. Депутаты держали себя с осторожностью. Каменев, теоретический вдохновитель фракции, отмежевался от пораженческой позиции Ленина, как и Петровский, нынешний председатель Центрального Исполнительного комитета на Украине. Департамент полиции с удовлетворением отмечал, что суровый приговор над депутатами не вызвал никакого протестующего движения со стороны рабочих.

Казалось, что война подменила рабочий класс. Так оно в значительной мере и было: в Петрограде состав рабочих обновился чуть не на 40 %. Революционная преемственность резко нарушилась. То, что было до войны, в том числе и думская фракция большевиков, сразу отошло назад и почти потонуло в забвении. Но под ненадежным покровом спокойствия, патриотизма, отчасти даже монархизма в массах накапливались настроения нового взрыва.

В августе 1915 года царские министры сообщали друг другу, что рабочие «повсюду ищут измену, предательство, саботаж в пользу немцев и увлечены поиском виновников наших неудач на фронте». Действительно, в этот период пробуждающаяся массовая критика, отчасти – искренно, отчасти – ради покровительственной окраски, исходила нередко из «обороны отечества». Но эта идея была только точкой отправления. Недовольство рабочих пролагает себе все более глубокие ходы, заставляя умолкнуть мастеров, черносотенных рабочих, прислужников администрации и позволяя поднять голову рабочим-большевикам.

От критики массы переходят к действию. Возмущение находит себе выход прежде всего в продовольственных волнениях, которые кое-где принимают форму локальных мятежей. Женщины, старики, подростки чувствуют себя на рынке или на площади независимее и смелее, чем военнообязанные рабочие на заводах. В Москве движение выливается в мае в немецкий погром. Хотя участниками его являются главным образом городские отбросы, орудующие под протекторатом полиции, однако самая возможность погрома в промышленной Москве свидетельствует о том, что рабочие еще не пробудились настолько, чтобы навязать свои лозунги и свою дисциплину выбитому из равновесия мелкому городскому люду. Распространяясь по всей стране, продовольственные волнения разрушают гипноз войны и пролагают дорогу стачкам.

Прилив сырой рабочей силы на заводы и жадная погоня за военными барышами повели за собой повсеместно ухудшение условий труда и возродили наиболее грубые приемы эксплуатации. Рост дороговизны автоматически снижал заработную плату. Экономические стачки явились неизбежным рефлексом массы, тем более бурным, чем дольше он задерживался. Стачки сопровождались митингами, вынесением политических резолюций, стычками с полицией, нередко стрельбой и жертвами.

Борьба охватывает прежде всего центральный текстильный район. 5 июня полиция дает залп по ткачам в Костроме: 4 убитых, 9 раненых. 10 августа войска расстреливают иваново-вознесенских рабочих: 16 убитых, 30 раненых. В движении текстильщиков замешаны солдаты местного батальона. Стачки протеста откликаются в разных частях страны на расстрел в Иваново-Вознесенске. Параллельно разливается экономическая борьба. Текстильщики идут нередко в первых рядах. По сравнению с первой половиной 1914 года движение, по силе напора и ясности лозунгов, представляет большой шаг назад. Немудрено: в борьбу втягиваются в значительной мере сырые массы, при полном расстройстве руководящего слоя рабочих. Тем не менее уже в первых стачках войны слышится приближение больших боев. Министр юстиции Хвостов говорил 16 августа: «Если сейчас не происходит вооруженных выступлений рабочих, то исключительно потому, что у них нет организации». Еще точнее выразился Горемыкин: «Вопрос у рабочих вожаков в недостатке организации, разбитой арестом пяти членов Думы». Министр внутренних дел добавил: «Членов Думы (большевиков) амнистировать нельзя – они организующий центр рабочего движения в наиболее опасных его проявлениях». Эти люди во всяком случае не ошибались насчет того, где подлинный враг.

В то время как министерство, даже в момент величайшего замешательства и готовности к либеральным уступкам, считало необходимым по-прежнему бить рабочую революцию по голове, т. е. по большевикам, крупная буржуазия стремилась наладить сотрудничество с меньшевиками. Испуганные размахом стачек либеральные промышленники сделали попытку наложить патриотическую дисциплину на рабочих, включив их выборных представителей в состав военно-промышленных комитетов. Министр внутренних дел жаловался на то, что против затеи Гучкова бороться очень трудно: «Все это дело ведется под патриотическим флагом и во имя интересов обороны». Нужно, однако, отметить, что и сама полиция избегала арестовывать социал-патриотов, видя в них косвенных союзников по борьбе против стачек и революционных «эксцессов». На излишнем доверии к силе патриотического социализма основывалось убеждение охраны в том, что, пока длится война, восстания не будет.

При выборах в военно-промышленный комитет оборонцы, возглавлявшиеся энергичным рабочим-металлистом Гвоздевым, – мы встретим его позже министром труда в коалиционном правительстве революции, – оказались в меньшинстве. Они воспользовались, однако, поддержкой не только либеральной буржуазии, но и бюрократии, чтобы опрокинуть бойкотистов, руководимых большевиками, и навязать петербургскому пролетариату представительство в органах промышленного патриотизма. Позиция меньшевиков была ясно выражена в речи, с какою один из их представителей обратился впоследствии к промышленникам в комитете: «Вы должны потребовать, чтобы ныне существующая бюрократическая власть сошла со сцены, уступив свое

место вам, как наследникам настоящего строя». Молодая политическая дружба росла не по дням, а по часам. После переворота она принесет свои зрелые плоды.

Война произвела в подполье ужасающие опустошения. Централизованной партийной организации, после ареста думской фракции, у большевиков не было. Местные комитеты существовали эпизодически и не всегда имели связь с районами. Действовали разрозненные группы, кружки, одиночки. Однако начавшееся оживление стачечной борьбы придавало им на заводах дух и силы. Постепенно они находили друг друга, создавая районные связи. Работа в подполье возродилась. В департаменте полиции писали позже: «Ленинцы, имеющие за собой в России преобладающее большинство подпольных социал-демократических организаций, выпустили с начала войны в наиболее крупных своих центрах (как-то: Петроград, Москва, Харьков, Киев, Тула, Кострома, Владимирская губ., Самара) значительное количество революционных воззваний с требованием прекращения войны, низвержения существующего правительства и устройства республики, причем эта работа имела своим осязательным результатом устройство рабочими забастовок и беспорядков».

Традиционная годовщина шествия рабочих к Зимнему дворцу, прошедшая почти неотмеченной год тому назад, вызывает широкую стачку 9 января 1916 года. Забастовочное движение возрастает в этом году вдвое. Столкновения с полицией сопровождают каждую большую и упорную стачку. По отношению к войскам рабочие ведут себя с демонстративным дружелюбием, и охранка не раз отмечает этот тревожный факт.

Военная промышленность разбухала, пожирая вокруг себя все ресурсы и подкапываясь под свои собственные основы. Мирные отрасли производства начали замирать. Из регулирования хозяйства, несмотря на все планы, ничего не вышло. Бюрократия, уже не способная взять это дело в свои руки, при сопротивлении мощных военно-промышленных комитетов, не соглашалась в то же время предоставить регулирующую роль буржуазии. Хаос возрастал. Умелые рабочие заменялись неумелыми. Угольные копи, заводы и фабрики Польши скоро оказались потеряны: в течение первого года войны отпало около 1/5 части промышленных сил страны. До 50 % всей продукции шло на нужды армии и войны, в том числе около 75 % производимых в стране тканей. Перегруженный транспорт оказывался не в силах доставлять заводам необходимые количества топлива и сырья. Война не только поглощала весь текущий национальный доход, но и серьезно приступила к расточению основного капитала страны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.